

Александра Свиридова

Проще в роще

Мне было чуть больше двадцати пяти, когда я окончила институт и вышла замуж за одноклассника моей подруги. Мы расписались в Кровавое воскресенье – 9 января 1977 года, а в августе мне должно было исполниться двадцать шесть. Собрали мои пожитки – картонные коробки с книгами и бумагами, – взяли такси и перевезли их с Водного стадиона, где я снимала квартиру, на Сокол, в большую комнату в красивом доме, построенном пленными немцами. Там жил мой муж-мальчик, оставленный родителями. Ему было пятнадцать-шестнадцать, когда у родителей случилась любовь – у каждого своя. И поскольку все были большие интеллигенты – произношу это с глубоким презрением к людям, которые бросают детей, – они оставили его одного не на улице, а в хорошей квартире. Папа был театральный критик, мама – телеперсона, что-то делала в передаче «Человек и закон» и всегда точно знала, что можно, а что наказуемо. Романы родителей развивались параллельно, решение о разводе было обоюдным, а потому разошлись полюбовно, разменяли жилплощадь, и сыну-подростку досталась комната в том самом дворе, где прошло его детство. Окна выходили на песочницу, в которой он сначала делал куличики, потом учился курить, а потом выпивал с друзьями, и все было привычным и знакомым. Только родителей не было. Но они звонили, давали деньги, забрасывали ему продукты, и вскоре ему стал завидовать весь класс, а потом собираться у него после уроков слушать «Битлз». Так я попала к нему, когда подруга сказала: «Пошли к Толику битлов послушаем».

Толик год встречал и провожал меня, потом мы закончили каждый свой институт, и он твердо сказал, что нам пора расписаться.

Мне и сегодня жаль, что он меня бросил, когда я думаю о себе. Но когда думаю о нем, я рада, что он оторвался от меня. Жаль, что со следующей женой ему тоже не повезло, но история не об этом. Мы прожили пять бестолковых лет, в которых я больше была на съемках, чем дома, и в памяти ничего не осталось, кроме нареканий Толика и его интеллигентной родни. Они собирались на праздники за большим столом – жеманная телемама со своим молодым телемужем, театральная папа со строгой женой-завлитом постарше него, папина сестра – милая тетя Тома, переводчица Шиллера, со своим мужем – театральным режиссером, и его сыном радиорежиссером. После язвительного обзора новостей, из которых осталось в памяти, что на юбилее Виктора Ардова кто-то сказал, что он спал со всеми проститутками, кроме Каменева и Зиновьева, семья разворачивалась на меня, и все начинали получать, что, как и когда я должна делать. Сходились во мнении, что кино – это, конечно, хорошо, но нельзя постоянно летать на съемки и оставлять Толика одного, чтобы после работы его некому было дома накормить, обстирать и обогреть. Я соглашалась с ними, ковыряя в тарелке вечный салат оливье, и говорила, что сама бы хотела, чтоб ему кто-то готовил и стирал, чтоб он не рос сиротой.

Толик с улыбкой наблюдал, как семья замолкала. Длинный, худой, в очках под Джона Леннона, он тихо спился к тридцати со всех уровней секретности Главкосмоса до ремонтных работ в колодцах телефонных подстанций на улице. Его было жалко, но помочь было нечем – мне нужно было ехать, лететь, снимать. Зачем он на мне женился, не знаю. То, что я ему нравилась, было не главное. Главным было показать семье, что они его оставили со всеми своими театрами и телевидением, а он завел себе кинематографиста. Все кончилось, когда в него вцепилась коллега, которая решила его присвоить, и жаль, что у них не сложилось, но в ту пору, когда я почувяла, что у него роман, было невесело. Страдать было некогда – нужно было сдавать сценарий, и я стучала день и ночь на серой «Эрике», доставшейся от отъехавшей в Израиль переводчицы московского кинофестиваля. А когда закончила, решила сделать хоть что-нибудь из того, что требовала от меня семья. Каждое лето меня зазывали на дачу что-нибудь сеять, сажать, и раз в неделю Толик начинал фразу, от которой я вздрагивала:

– Тетя Тома звонила, спрашивала...
– Опять пятница? – изумлялась я.
– Представляешь, да! Пятница каждую неделю, и все завтра утром едут. Тетя Тома просила помочь...

– Обещаю: поставлю точку – и мы поедем, – говорила я.

– Пятый год одно и то же, – понуро отвечал Толик и ехал один.

Я решила позвонить тете Томе. В нашей коммуналке сделать это было непросто. За стеной слева весь день брэнчал на гитаре сосед Левка, который сидел в отказе, ожидая разрешения на выезд в Израиль, а по вечерам подрабатывал в кабаках, справа угрюмо пил отраву, настоящую на варанах, контуженый офицер – ветеран вьетнамской войны. В коридоре сидела у общего телефона офицерская жена и либо диктовала, либо записывала рецепты засолки огурцов. Наверняка было что-то еще, но мне доставались огурцы, стоило выйти в туалет-ванную или кухню.

– Укроп пучком, чеснок – целую головку, предварительно очистив...

– Я позвонить могу? – спросила я, и она с негодованием прервала сессию, уступив мне теплую трубку. Она не любила меня за то, что я пользуюсь телефоном, ничего не солю, и полагала, что я вообще выхожу из комнаты с единственной целью соблазнить ее мужа.

– Тамара Демьяновна, – торжественно начала я. – Я готова ехать на дачу. Хоть на выходные, хоть на всю неделю.

В трубке раздался всхлип или хрип, а дальше тетя рассмеялась, потом закашлялась прокуренно и через пару минут этого кашля со смехом сказала, что дачу заколотили до лета, и бросила трубку. Я подивилась ее ответу и пошла посмотреть в окно. Оказалось, что я не заметила, как кончилось лето, и пропустила, когда на Песчаной сначала пожелтели, а потом облетели платаны. Небо было в цвет тротуара, и голые ветки за грязным окном стояли нечитаемым иероглифом. Хотелось протереть стекло. Окно у Толика было не мыто с предыдущих хозяев. Дворничиха как-то остановила меня во дворе и показала, что оно самое грязное в доме. Но помыть его было невозможно, так как у Толика была страсть: он собирал маленькие кактусы, размером с куриное яйцо. Ему привозили их со всего света. Он построил им этажерку, и она высилась решеткой на фоне окна, прикрепленная к раме.

Он поливал их, пересаживал, любовался ими и в приливе нежности то ли к ним, то ли ко мне иногда приглашал потрогать. Двигать кактусы он не хотел, и я не настаивала.

– Еще окна мы не мыли в угоду дворничихе, – говорил руками Толик. – Больше никто ничего мне сделать не велел – там, во дворе? А то пойдя спроси. Проще надо быть, проще: выслушала, кивнула – и иди дальше.

Мыть это окно было вправду нелепо: зачем? Чтобы разглядеть заросший кустами запущенный двор и посеребренного гипсового пионера-горниста с отбитой у локтя рукой, который блестел под луной, как юбилейный рубль. Было трудно поверить, что его вылепили пленные немцы, когда строили генеральские дома на Песчаных. Хотя, может, пионера завезли потом генералы. А может, он был «гитлерюгенд», как, хихикая, говорил Толик. Я ничего не хотела видеть в этом окне и дворе. Было ясно, что нужно расхотиться, а с чего начинать, я не знала.

За окном посыпался мелкий дождь, он мыл окно снаружи. Толик пришел вымокший, навеселе, и сказал, что забыл зонтик в трамвае. Я сказала, что закончила сценарий, звонила тете, но дачу забили.

– Оказывается, кончилось лето.

– Знаешь, – сочувственно посмотрел на меня Толик, – я раньше думал, что ты меня дуришь, когда обещаешь, что поставишь точку, и тогда... А теперь знаю, что нет. Ты правда думаешь, что однажды поставишь точку, и мы пойдем, поедем, полетим? Так вот я тебе скажу: ты ее однажды поставишь, – голос его зазвучал зловеще, – и увидишь, что мы все уже у-у-умерли!

Соседка крикнула из-за двери, позвала его к телефону.

– Нет, тетя Тома, она не издевается, – долетело из коридора. – Она действительно только сегодня увидела, что листьев нет. Думала, химическая атака, радиоактивное облако, из которого выпал отравленный дождь. Ну а что, когда были листья, а потом сразу – пионер. Что значит, какой? Который стоит за песочницей. Он за кустами не виден, а осенью стоит с горном. Ну да, из моего окна, а наши на Песчаную выходили...

Голые деревья за окном подрагивали в большой растерянности.

– И где обещанное бабье лето? – спросила я, когда он вернулся.

– Какие бабы, такое и лето, – проворчал Толик, укладываясь у стены.

Второй месяц мы лежали на широком диване параллельными столбиками, как железнодорожные шпалы. На нас можно было стелить стальные рельсы – настолько мы были не способны гнутья.

Утром, когда Толик ушел на работу, без звонка явилась моя приятельница.

Раздраженно швырнула на столик в прихожей двести рублей. Год назад она взяла их займы с моего студийного гонорара и не собиралась возвращать, о чем я сказала ее мужу при встрече. Муж отчитал ее и велел вернуть.

– Ну и что, вы стали богаче от этих денег? – прошипела она, прищурившись.

Я кивнула, понимая, что вижу ее в последний раз, и не предложила войти. Она развернулась и пошла вниз, нарочито цокая каблуками по широкой лестнице.

– Дверь закрой, – крикнула из кухни офицерская жена. – А то сквозняк.

Я закрыла дверь и принялась разглядывать деньги. Я на них не рассчитывала, а потому при всей неприглядности сцены возврата в них присутствовал элемент чуда. «Деньги с неба надо возвращать на небо», – учила меня в Одессе знакомая девушка легкого поведения. Когда к босоножкам ее прибило зеленую трешку в Горсаду, она повела меня пить кофе в первое попавшееся кафе на Дерибасовской.

Думаю, я кому-то позвонила, потому что у меня образовался адрес надежного человека в Крыму. Бросила в портфель стопку недописанных рассказов, пару тряпочек – и вышла из дому. До аэровокзала было недалеко. Я не хотела при соседях звонить и узнавать про билеты. Все должно было складываться само. Или не складываться. Позвонила только верной подруге Наташке и попросила подъехать на аэровокзал. Она приехала, пока я топталась в очереди за билетом. Я отдала ей сценарий, чтоб она отнесла его на студию. Взяла в кассе единственный билет на ближайший рейс до Симферополя и забралась в автобус, что шел во Внуково.

Хотелось тепла. К вечеру, когда я вышла из самолета и на трапе вдохнула сухой теплый воздух с ароматом лаванды, я поняла, что все сбылось. Автобусом доехала до Алушты, там пересела в другой – до поселка, корнем названия которого было слово «Солнце». Нашла дом и назвала чье-то верное имя. Рослая полноватая хозяйка годами сдавала коечки творцам. Она приветливо встретила меня, сказала, что постояльцев нет, и я могу выбирать себе лучшую комнату. Провела меня по пустому саду, рассказала, какие звезды жили у нее, кто с кем приезжал. Море шумело со всех сторон, но его не было видно. Шум обживался в ушах, как галлюцинация.

– Как к вам обращаться? – спросила я хозяйку.

– Серафима, – ответила она нараспев глубоким грудным голосом. – Саша Градский вообще меня мама Сима зовет. Пойдем, комнату покажу.

– А к морю можно?

– Нечего шастать ночью, утром пойдешь, – сказала она по-свойски. – Выйти-то к морю можно, а обратно как дорогу найдешь?

Она шла впереди с фонариком вдоль дома. За домом к стене примыкала пристройка – комната с двумя койками и электроплиткой в тамбуре.

– Тут тебе чайник, кастрюлька, чашки чистые, но можешь ополоснуть, если хочешь, – вода там в колонке. Уборная тут. Если что – стучи в стену.

– А звезд почему не видно?

– Утром увидишь, – мягко сказала Серафима, и я не стала уточнять, как можно утром увидеть звезды. Я умылась с дороги, разделась, легла, послушала, как качнулась панцирная сетка кровати, и уснула под шум моря. Утром вышла босая и первым делом глянула в небо. Его не было – плотной крышей над большим подворьем Серафимы лежал виноградник. Огромные листья закрывали небо, коричневую лозу, и туманные гроздья свисали низко – руку протяни, и чудом не падали под собственным весом.

– Я тебе потом срежу, когда скажешь, – услышала я ее мягкий голос.

– Доброе утро, – сказала я.

– Да где ж там то утро? – усмехнулась Серафима. – Уж скоро полдень. Ну как, на новом месте приснился жених невесте?

- Я замужем, какие мне женихи?
 - Иди умывайся, и пока до ларька дойдешь, я тебе пару яиц отварила. Ничего, что на ты?
 - Спасибо, нормально.
- Я умылась у колонки, а когда вернулась, в комнате на цветной клеенке ждал ломоть хлеба с маслом, пара яиц и большая чашка в крупный горох.
- Тебе на море сначала, да? Пошли, дорогу покажу.

За калиткой, что выходила на узкую улицу, за деревьями, лежала крупная серая галька, по которой до моря было идти и идти, но им был наполнен воздух. И когда наконец показались белые гребешки волн, соль уже осела на губах, стоило их облизнуть. Я сбросила босоножки, платье, придавила камнями, чтоб ветром не унесло, и пошла к воде. Над волнами низко носились и орала чайки, пара фигурок брела по берегу вдаль, а в небе, словно приклеенный, висел самолет. Никого только не было в воде. Я обернулась, пытаюсь зацепиться за любую приметку в пейзаже, по которой найти потом обратную дорогу, но примет не было. Одинаковые высокие серебристые тополя стояли стеной, заслоняя дорогу и дома поселка, и только одна новенькая крыша поблескивала за деревьями лезвием бритвы. Я вошла в море и замерла – вода оказалась холодной, волна высокой, и я не рискнула окунуться. Огляделась, словно можно было у кого спросить, почему так холодно, обхватила себя за плечи и побежала назад к деревьям. Дошла до дома, скрипнула калиткой, и тут же с участка донесся голос:

- Что так быстро?
 - Замерзла, – сказала я, прячась в свою комнату.
- Серафима выросла на пороге.
- Ты второе одеяло возьми, – стянула она с соседней кровати тощее бордовое одеяло. – А ты чего – без вещей совсем?
 - Купальник взяла. Мне лето тут обещали.
 - Раз на раз не приходится. Ты что, в октябре в Крыму не была?
 - Я никогда в Крыму не была...
 - Ишь ты... А куда ж ты на лето в отпуск?
 - Нет у меня отпуска. А на лето – на Дальний Восток, в Якутию, Заполярье, – куда зимой не доберешься.
 - Ну и как там? – растерянно спросила Серафима.

- Днем плюс двадцать пять...
- Ну это ж хорошо.
- Ночью – минус.
- Сколько?
- Те же двадцать пять, когда вечная мерзлота под ногами.
- И что ж ты туда берешь из вещей?
- Купальник и дубленку. Там солнце вот так ходит, – я провела пальцем по стене слева направо и обратно. – И не садится.
- Вообще? – с легким ужасом спросила Серафима.
- Ага. Летом по радио так и говорят: ночью сухая солнечная погода, – передразнивая диктора, сказала я. – Вообще-то, оно садится, но не сразу, а постепенно, – я снова повела пальцем по стене. – Так вот полгода походит туда-сюда по горизонтали, спустится ниже, ниже, пока совсем не исчезнет за горизонтом.
- И чего тогда? – глаза Серафимы расширились от изумления.
- Долгая полярная ночь. Еще полгода. Мрак и холод, и летать по приборам.
- Это оттуда, наверное, ко мне приезжали. Незамерзающий порт Тикси, – старательно выговорила она. – Белые-белые все такие, аж вены голубые видны, арбузы с корками ели, виноград с веточками, сгорели все сразу на пляже, волдырями покрылись и обдристались тут. Я тебе носки принесу. Согреешься – и пойдем виноград выбирать. А что ты там на холоде делаешь?
- Кино. То снимаю, то показываю.
- Я забралась в кровать, свернулась клубочком и смотрела в маленькое окно, кутаясь под двумя тонкими одеялами, слушала шум моря, который был настолько везде, что казалось, что я на корабле. За грязным, как на Песчаной, окном вместо серебристого пионера стояло чучело в соломенной шляпе.
- Иначе птицы весь виноград склюют, – сказала Серафима.
- Она назвала цену вдвое ниже базарной и посоветовала выбрать поклеванные гроздья:
- Птица не ошибется: раз гронку выбрала, значит, эта самая вкусная.

На следующий день я завернулась в одеяло и так пошла к морю. Сидела, лежала одетая под солнцем, задремывала, просыпалась.

И когда солнце склонилось к закату, побрела вдоль моря. Вышла на дорогу, увидела на обочине ларек, а за стеклом на витрине большую бутылку вина с красной этикеткой – «Бычья кровь».

– Открыть есть чем? – спросила я продавщицу.

– А ты прям тут пить собираешься? – презрительно уточнила та.

– А что – запрещено?

– У меня стакана нет.

– Был бы, я б все равно побрезговала, – утешила я ее.

Продавщица задето поджала губу и ловко выдернула пробку штопором. Поставила бутылку на прилавок, но руку не отвела.

– Заплати сперва.

– Бери, – я протянула ей кошелек, и пока она неуверенно рылась в нем, взяла бутылку и запрокинула, как пионер – горн. Опростала ее на треть, заткнула пробку и сказала: – Еще одну.

– Тоже открыть? – испуганно уточнила продавщица.

– Да нет, спасибо. Все взяла?

Продавщица отсчитала еще какую-то сумму и вернула кошелек.

– Проверь.

– Зачем? Там уже все посчитали, – ткнула я пальцем в небо. –

К Серафиме по этой дороге?

– Да, но в ту сторону. Мимо калитки не промахнись, оно в ноги шибает, – кивнула она на бутылку. – Там почтовый ящик синий такой.

Я не промахнулась. Прошла в пристройку, разогрела в маленькой алюминиевой кастрюльке вино, завернулась в одеяло и занялась бумагами. Пила, читала, черкала, согрелась вином и уснула к полуночи. Пол подо мной покачивало, как палубу, под шелест волн.

Утром Серафима, глядя вбок, спросила:

– Хорошо спалось?

– Нормально, – сказала я.

– Ты б с початой бутылкой тут не ходила, а то...

– Уже донесли?

– А как же! Народ у нас жалостливый: за хлебом пришла, а все сочувствуют, что опять я пьянь московскую приютила.

– А то, что я замерзла, это не в голове?

– Да я ж ничего не говорю. Здесь тебе никто не запрещает.

– Не может быть! Окно бы помыли за такие деньги, а не замечания делали.

– Какие – такие? Там вон вдвое дерут, а до моря два километра.

– И что там с окнами? Мытые?

– Да помою сегодня! И сиди себе пей, но зачем было это говно брать?

– А там выбор был?

– Мы из лидии свое делаем.

– Но я-то взяла то, что там было...

Я набросила одеяло, взяла бумажки и села за дальний стол в винограднике.

Серафима стояла поодаль, как статуя, и не сводила с меня глаз. Потом срезала крупную гроздь винограда, приблизилась к столу на цыпочках и положила гронку на край стола. Я подняла глаза.

– Угощайся, – тихим, как не своим голосом сказала она и попятилась.

Когда солнце поднялось повыше, я ушла к морю. А когда вернулась, окно было вымыто, и комната сияла.

– Ух ты! Спасибо, – сказала я. – Страшила теперь разглядеть можно. Привет! – помахала я соломенному человеку в окне. – Он у тебя с мозгами или еще без?

Серафима напряженно всмотрелась в меня.

– Это сказка такая, «Волшебник изумрудного города». Там чучело мечтает занять мозги и стать правителем...

– Ой, вот только не начинай про Москву, – закрылась локтем Серафима.

– Да я спасибо сказать...

– Это ему, – кивнула Серафима в сторону мужика, что бесшумно в глубине сада на высокой стремянке подрезал виноград.

– Спасибо! – крикнула я погромче.

– Николай, – подсказала она. – Приехал вот.

– А куда люди из Крыма ездят?

– Шоферит дальнбойщиком.

– Это хорошо: долго жить будете.

– С чего это? – заинтересованно спросила Серафима.

– Не третесь жопа к жопе с утра до ночи, отдохнуть успеваете друг от друга, соскучитесь. У тебя заметно, что хороший мужик есть в доме...

– Бабы в поселке тебе другое скажут, – сдержанно откликнулась она.

– Тебе не с бабами жить, а с мужиком своим. Мой всегда говорит: проще надо быть, проще – выслушала, кивнула, и иди себе.

– Проще в роще, – неожиданно грубо отрубил Серафима, развернулась и отошла.

– Спасибо, Николай! – крикнула я. – Я тебе тоже что-нибудь хорошее сделаю.

Так появился муж Серафимы. Крепкий загорелый шофер, он пришел из рейса и мог неделю отдыхать дома. Но он впрягся в домашнюю работу и с раннего утра до заката что-то чинил, сколачивал, клеил, красил и цементировал повыбитые плиточки на тропках в саду. Как покорный батрак, он ходил тенью за Серафимой в ожидании указаний. Серафима не смотрела в его сторону. Она знала, что тень неотрывно следует за ней. А он искал, как взглянуть ей в лицо. Она ставила перед ним еду на ближнем к дому столе, как ставят ее перед чужим работником, справно делающим дело за тарелку супа. А когда работа по дому была закончена, он пошел в гараж что-то менять в машине. Спросил Серафиму, не поможет ли она ему, но она мотнула головой. Я крикнула от дальнего стола, который обжила своими бумагами, что готова. Он вскинулся с благодарностью, быстро нырнул в яму под машиной. Все, что ему могло понадобиться, лежало по краю, и он только просил подать ему то гаечный ключ, то какую трубку, то поддержать лампу, осветить. Это были железки, которых я отродясь не видела, то и дело путалась, переспрашивала, но он не раздражался, а был признателен не столько за помощь, сколько за то, что я вообще с ним разговаривала. Удивлялся, что я не вожу машину. А когда закончил, выбрался из ямы и пошел мыться, Сима позвала меня третьей к ближнему столу. Поставила мне вторую тарелку с салатом из свежих помидоров с брынзой и сама села подле меня.

Я даже подумала, что как офицерская жена коммуналки она тревожится, не посягаю ли я на ее мужа. Но что-то другое было

в ее взгляде. Николай любовно объяснял мне, какой прекрасный болт ему удалось купить и как машина теперь запоет с новой деталью. В сумерках после ужина, когда я снова побрела к морю, Серафима спросила, не помешает ли, если составит мне компанию. Я даже обрадовалась. Хотела послушать ее рассказы про жизнь у моря. Мы шли босиком по крупной гальке, и я сказала, что хороший у нее мужик, но пусть она не думает, что я... Серафима не дала мне договорить. Сказала, что ей гораздо интереснее послушать, чем он хорош. Я стала перечислять все, что успела заметить – какой он открытый, спокойный, рукастый, как споро все получается у него, как любит машину и слышит, как у нее сердце стучит, как он сказал. И как небеса благосклонны к нему: даже дождь отменили и солнце дали на весь день, когда он цемент замесил.

– И, похоже, не пьет, – с тоской вспоминая своего мужа, закончила я.

Она кивнула, засмеялась едва ли не впервые за неделю, что я стояла у нее. Послушала, склоняя голову набок, и глазами словно попросила: говори еще, у-говори. И я уговаривала ее, чувствуя, что у них что-то произошло. Объясняла про своего – пьющего – мужа. Про виноградник, который ласковую руку чует. Предлагала пройти по улице посмотреть, что у других растет, но она отмахнулась – знаю, дескать. Мне хотелось сохранить их союз. Он был не похож на мой бестолковый брак.

– Знаешь, даже просто – из корыстных целей – я хочу, чтобы вы были вместе, – остановилась я у воды, кутаясь в одеяло.

– Зачем тебе?

Волна шумела так, что приходилось почти кричать.

– Чтоб мне было куда приехать. Ты хорошая, – прокричала я. – Дом у тебя большой, виноградник, ты одна не потянешь хозяйство. А он тебя любит, любит дом...

– Сам ставил, – кивнула Серафима.

– Ну так что ж тебе еще?

Я подобрала тяжелый голыш и что есть силы запустила куда подальше в волну.

– А я скажу, – Серафима тоже наклонилась, подняла покрупнее камень – и не бросила, а вложила мне в руку и сказала.

Я не помню, какими словами, потому что оглохла от ужаса. Сказала, что был у них мальчик, сын. Окончил восемь классов и дальше учиться не хотел – хотел работать, как отец. Пошел в техническое училище, отучился, дипломную работу написал, сдал, поехал на практику. Вечером не вернулся, а утром привезли его мертвого. Он на электрика учился и то ли упал со столба – влез и не удержался, то ли током убило. В гробу лежал чистый – каким утром ушел. Училище на себя все расходы взяло. Колька в рейсе был, но вернуться должен был. И пока она сутки головой о тот дальний стол в винограднике билась, где гроб стоял, кто-то из соседей пришел. Сказал, что машину Колину видел за магазином, а сам он у бабы. Сима про бабу ни сном ни духом не знала. Ей показали, в каком она доме, – приезжая, на лето в шоферскую столовую нанялась. И Серафима утерлась, умылась-причесалась и пошла той бабе в окно стучать. Стучала-стучала, а они не открыли. И Колька к ней от этой бабы не вышел.

– А все знали, что он точно там.

Мужики из гаража увели ее. Все на похороны пришли, гроб на руках вынесли, как положено, в грузовик поставили с опущенными бортами, до кладбища довели под клаксоны через весь поселок. Как свои своего похоронили. А Колькина машина исчезла. Бабу они с квартиры прогнали, из столовой и из поселка, хотя она-то в чем виновата? Лето минуло, а по осени забор у Симы осел, покосился, и проснулась она под стук молотков. Глянула в окно, а Колька с мужиками новые опоры поставил. Теперь уж она не вышла на стук. А он починил все, покрасил снаружи и ушел, как пришел. Мужики ему свои рейсы уступали – чтоб делом был занят. Потом похолодало, кто-то пришел, свитер ему попросил. Она свитер вынесла, показала и не отдала – сказала, пусть сам забирает. Сложила в стопку все, что его в доме было, положила у двери на простыне, чтоб в узел удобно завязать, а он вошел, воздух втянул и заплакал. Страшно так, громко.

– Выл, как скотина какая. Таким за руль сесть – только убиться, – сказала Сима. – Ладно бы сам-один – оно не жалко, так он же на трассе мог кого еще зацепить.

Она постелила ему, как постояльцу, да так он и остался – на коечке в уголке. Третий год пошел.

Меня трясло под одеялом. Мы стояли рядом, смотрели на море. Его не было б видно, если бы не луна. А так – лунная дорожка се-ребрила то белую пену, то сизую сталь воды. Я приподняла край одеяла, и Сима шагнула под него. Мы накрылись, прижались бок к боку, постояли еще и вместе пошли. Такими – сиамскими – вошли в мою каморку. Сима посмотрела на ворох бумаг на столе. Я сдвинула их, придавила камнем, что принесла с берега, но она жестом оставила: не надо. Поставила чайник. Села на свободную койку и осмысленно уставилась на бумаги, словно видела в них что-то свое. Ни звука не проронили ни я, ни она. Я пила кипяток, а она налила себе в граненый стакан моего вина, выпила, утерлась рукавом, сказала: – Я тебе завтра верну, – и ушла.

Утром под дверью у меня стояла бутылка этого вина «Бычья кровь».

– Если тебе чего надо в центре, – подошел Коля к умывальнику, – могу подбросить.

– Да нет, спасибо, – ответила я, пряча лицо в полотенце.

Он потоптался, уехал, а Сима позвала меня в дом. Я села с краешку стола – думаю, на то место, где сел тогда Коля. Она поставила чашку и подвинула два яйца на блюдец.

– Это всмятку, это вкрутую – не знаю, как ты любишь, – ткнула пальцем в каждое.

Сама села поодаль, поглаживая большую толстую тетрадь, и сказала:

– Ты попей, а потом я тебя чего спрошу.

И пока я пила чай, сказала, что вино не такое поганое, как казалось, и что правильно вчера было выпить: и согрелась, и заснула, и за помин хорошо пришлось. Я снова кивнула и почувствовала, что хочется спрятаться в эту большую чашку, влезть в нее по ободок.

– Ты не бойся, – погладила она тетрадь. – Тут ничего страшного, бумага одна. Как у тебя. Мне кажется, ты сможешь мне объяснить, – Сима придвинула стул поближе. – Может так быть, чтоб ты в тетрадь что писал-писал, а потом ни с чего взял и нарисовал что?

– Конечно, – облегченно сказала я. – Достаточно посмотреть рукописи Пушкина, Лермонтова, – они рисовали на полях...

– Что рисовали? – напряженно перебила Сима.

– Когда что. Женские головки, ножки, Пушкин мог свой профиль нарисовать. Лермонтов фигурки со шпагами. Когда его на дуэли убили, эти рисунки показались провидческими, хоть он не на шпагах дрался, а стрелялся... Сергей Эйзенштейн вообще лист пополам делил: тут текст, а тут рисунки, сиськи...

– Эйзенштейна не надо, – по слогам сказала Серафима. – Лермонтова хватит.

– Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин» сделал, кино такое.

– А так, чтобы писал-писал, а в конце рисунок?

– Наверняка и такое было.

– А у тебя было? – Сима легла на тетрадь грудью, чтобы поближе всмотреться в меня.

– Было, – твердо сказала я. – Бабушку в школу вызывали. Я могла писать-писать что-нибудь, что велено в столбик, сложение-вычитание или дроби, которые я ненавидела, а потом елочку нарисовать... Под снегом. Я ее до сих пор рисую, могу показать.

– Я знала, – выдохнула Сима и пододвинула мне тетрадь. – Теперь смотри.

Это была дипломная работа сына-электрика. Физика – с расчетами, цифрами и схемами передачи сигнала. Чертежи, на которых чашечки на перекладине столба с проводами отделяли провода друг от друга.

– Красиво, – нашла я хоть какое слово.

– Ты листай, листай... – поторопила Сима, чуть задыхаясь.

Листок за листком шли исписанные красивым почерком страницы. А когда я перевернула последнюю, там во всю страницу был выписан под линейку красивый электрический столб. Только чашечек не было наверху и проводов. Зато была косая перекладина посередине, и табличка с инициалами. Три буквы, средняя – Эн.

– Николаевич? – уточнила я.

– Георгий, – кивнула Сима. – Мы его Юркой звали. Когда папспорт пошли получать, только тогда и узнал, что он Георгий. И что ты мне скажешь, что это значит?

– Еще рисунки есть? – помедлила я.

– Нет. Никогда рисовать не хотел. Лепить – лепил. Из песка, глины, хлебного мякиша, я еще по рукам била. Птиц всяких, кораблики,

фрукты, овощи. Яблоко вылепит, раскрасит, в вазу подложит и ждет – спутаю или нет. Ну я и сказала ему, что зубы себе обломаю по ошибке, будет знать... Обрадовался, что похоже у него выходит, но подкладывать перестал. Игрушки на елку лепил, дарил всем. Улитке домики строил, они у нас тут утром выходят на дорожку...

– Не видела.

– Так тебя утром тоже никто не видел. По росе куда-то идут через наш двор.

Вошел Николай.

– Хозяйка, воду открой, чтоб я кран не пачкал, – показал он грязные руки.

Сима поднялась, не отрывая взгляд от тетради, прошла к крану, что был рядом в кухне, повернула его и продолжила:

– Юрка однажды увидел, что одной кто-то домик сломал, улитка голая совсем ползла, и просто с ума сошел – все лепил эти домики и ставил на дорожке по краю – чтоб она себе взяла.

– Я сам заверну, – сказал Николай, увидев боковым зрением тетрадь на столе.

Сима вернулась к столу.

– Плотники у вас в поселке есть, чтобы хорошие, с руками? – спросила я глухо.

– Ну ты ж забор видишь, – ответила Сима.

– Тебе зачем? – подал голос Николай, закрывая кран.

– Крест заказать – такой, как нарисовано. Ты где тетрадь эту взяла?

– Мне портфель его отдали...

– Значит, тебе и нарисовал. Надо плотника найти, крест этот выстрогать большой и поставить.

– Ты думаешь?.. А почему мне это в голову не пришло? – потрясенно спросила Сима.

– Потому что он тебе живой, твой Николаич, – закрыла я тетрадку. – С чего живому кресты ставить? Уехал на практику, не вернулся, и растет где-то там, другим улиткам домики строит, чтобы они голыми по небу не ползали, – я неопределенно повела рукой в воздухе, и Сима поймала ее, сжала в ладонях, закрыла глаза и прижалась лбом к моей руке.

– Я плотника найду, – сказал Николай, наматывая полотенце на кулак. – Сделает.

Я тихонько отняла у Симы руку, поднялась, вышла, спряталась в каморке – и утром не удивилась, когда Сима толкнула меня в плечо:

– Иди посмотри, как они идут, а то уедешь, и когда еще...

По мокрой от росы плиточной тропке медленно ползли большие – с ладонь – мокрые бежевые улитки с выпущенными длинными рожками-перископами и волокли на себе свои ненадежные домики. Я стояла босая над ними и не могла глаз отвести от этого зрелища.

– Улитка, улитка, где твои рожки? – вырвалось у меня.

– Ага, – кивнула Сима, и закончила: – Дам тебе картошки.

– Они нас не боятся, – потрясенно прошептала я.

– Не нас, Юрку, – погрозила она пальцем. – Это он выследил их дорожку и велел батьке плиточки положить, чтоб им легче было ползти голыми животами...

В тот же день на море поднялся шторм. Земля гудела, и все прятались по домам.

Николай дал мне большой прорезиненный плащ с капюшоном, чтобы я могла пойти посмотреть, как выглядит Айвазовский в жизни. И я вышла за деревья, стояла на гальке, но подходить близко к морю не рискнула. К утру стало ясно, что поплавать не удастся в этом сезоне. И когда волна улеглась и ветер стих, сложила бумаги и сказала, что поеду.

– Мы тебя отвезем, – непререкаемо твердо сказала Сима. – Носки себе оставь, а то зазябнешь там в самолете.

Николай медленно катил в старой машине по улице поселка, и Сима, что сидела на заднем сиденье, помахивала соседям из открытого окна. В Симферополе мы обнялись с ней на прощание.

– Приедешь еще? – спросил Николай из-за ее плеча.

– Приедет, – ответила за меня Сима, а я только пожалала плечами.

Она вложила мне в руку пакет с виноградом:

– Гостинца своему отвези.

И я пошла на посадку.

В Москве колючий дождь норовил стать снегом. На Песчаной ругались за стеной офицер с женой. Радиатор был холодным. Я стащила одеяло с постели, привычно завернулась в него и села разбирать почту, что скопилась, пока меня не было. Толик вернулся с работы трезвый, как я просила, когда позвонила из Симферополя. В недоумении повертел в руках большую виноградную гроздь.

– Из нее можно люстру сделать. Это у них такое само растет? – он отщипнул виноградину, положил за щеку и так, жуя, продолжил: – Тебе привет, был в Шереметьево, встретил кучу твоих знакомых.

– Кого?

– Рома вроде его зовут, из Одессы на свадьбу к нам приезжал с женой.

– Рома?! Был в Москве и не позвонил? А что он делал в Шереметьево?

– Да не он, а вся семья, на самолет «Москва – Вена» с баулами. Нина с Костей тоже...

– А они куда?

– Туда же. Посмотри, сколько черных окон в домах. Сваливает народ.

Я подошла к окну.

– А ты что там делал? – спросила я.

– Левку провожал. Он мне гитару свою оставил...

– И кто же там теперь? – кивнула я на соседскую стенку, за которой было тихо.

– Пока никого. Надька пытается себе эту комнату отбить у ЖЭКа, – он кивнул на другую стену.

– Может, я там пока попечатаю, чтоб тебе тут не мешать?

Он молчал.

– А хочешь, я вообще окно вымою? Ты только кактусы сдвинь.

– Плюнь, – сказал Толик, отщипнув еще виноградину. – Танюшка вымоет. Пошли подадим на развод.

– Дурак ты, – сказала я. – На всех, с кем спишь, не женишься, а лучше меня жены у тебя не будет.

– Я знаю, – кивнул Толик и обнял меня со спины.

За окном стемнело, и мы смотрели на свое отражение, как на вылинявшее фото, где стояли в обнимку, когда все только начиналось.